

Иван САВЕЛЬЕВ

Вместо точки — многоточие

Я уже готов был поставить в этой работе точку. Последнюю, поскольку думалось мне, что всё в «Моём Твардовском» сказано. Значит — точка.

Но не состоялась она, по счастью, и так странно не состоялась, что сначала показалось: усталость, лёгкая и тяжёлая одновременно, пришла ко мне, как бывает всегда в тот момент, когда та самая последняя точка уже сама просится на бумагу.



Но мысль, пришедшая внезапно, обожгла душу неожиданным вопросом: почему он, Александр Трифонович, мой? И когда он стал моим? Я нетерпеливо раскрыл «Моего Пушкина» Марины Цветаевой, пытающейся найти разгадку этой тайны у неё. Читал, перечитывал, — тайна её Пушкина тоже не была разгадана. Почему, думал я, у неё не «Мой Лермонтов», не «Мой Некрасов», которых она любила не менее Пушкина?

Ужели только потому, что памятник Александру Сергеевичу находится недалеко от того переулка, где жили в то время Цветаевы? Нет, скорее, тут что-то более существенное, одним словом, — тайна. Так когда же я пришёл к Твардовскому, как мы обычно приходим не только к любимому поэту, а и просто к человеку, с которым встречаемся из года в год и, тем не менее, проходим мимо друг друга? И не менее важный вопрос: почему я пришёл именно к Твардовскому?

Может, всё дело в том, что в какой-то момент, когда я стал погружаться не только в творчество Александра Трифоновича, но и в его обычную человеческую жизнь, в ту самую повседневность, которая кажется уже совсем ясной, как казалась она его коллегам по «Новому миру», я вдруг понял, что не знали они Твардовского, — он был с ними, но в то же время в своём далёке, имя которому — одиночество.

Он сидел рядом, беседовал подолгу с писателями, читал рукописи, журнальные вёрстки, — одним словом, жил редакционной текучкой, но, живя этой самой повседневностью, внутренне считал, что всё это ещё не было полнотой жизни, а было её усечённым подобием, чему всю жизнь противилась его душа. Жизнь настоящая, полная была там, где жил человек, связанный с землёй, как дерево своей корневой системой связано с почвой; и поэт хорошо понимал, что и сам человек растёт, как дерево, на своей почве.

Моим Твардовский стал для меня только в эти часы и дни, когда я понял, чем он меня трогает, почему я всё время возвращаюсь к одним и тем же стихам поэта, хотя и перечитываю постоянно его всё — от стихов и поэм до дневников, — а трогает он меня не только искренностью каждой строки, но и той открытостью души, когда стихам не нужен подтекст, — Твардовский любил бесстрашие текста, которое было бесстрашием

его жизни. И тут — ключ к его тайне, и ключ сей тоже, кажется, рядом, на поверхности, но... мимо, мимо мы проходим мыслью, пробежав быстро по его стихам и наивно полагаем, что и тайны-то в них нет никакой.

Подтекст, по Твардовскому, — удел слабых.

Он, подтекст, существует у тех как бы поэтов, которым нечего сказать о жизни, и, чтобы спрятать хилую убогость мысли, они и наряжают свою строфику яркими одеждами «красноречья», которого Твардовский, по его словам, «остерегался, как кощунства, как беды».

Текст — это обнажённое Слово, равновеликое обнажённой душе, и он — удел сильных.

Теперь, с новым взглядом перечитывая Твардовского и найдя ключ к его тайне, я понял и принял это его бесстрашие не только как необходимость быть верным правде жизни, но и как душевную потребность просвещать читателей и этим просвещением исправлять — истинно исправлять словом и делом (а Слово писателя — это и есть Дело!) своего читателя и — шире — читателей «Нового мира».

И тут по-новому стали читательские многостроки:

Одна неправда нам в убыток,
И только правда ко двору!

И я увидел, что эта «правда ко двору»,

как судьбоносное пламя, летит по его «Стране Муравии», светло перекидываясь с неё на предвоенную лирику, и уже полыхает неистребимым светом по его стихам и наивно полагаем, что и тайны-то в них нет никакой.

По-новому теперь прочиталось и стихотворение Твардовского «Слово о слове», в котором он ещё в 62-м году сформулировал своё поэтическое кредо, из коего вытекает та самая «правда ко двору», которую никто на свете не может отменить, даже само время:

Да, есть слова, что жгут, как пламя,
Что светят в даль и вглубь — донда,
Но их подмена словесами
Изменю может быть равна.

Такой высокой духовной планки не держал и не выдерживал у нас никто: в девятнадцатом веке она была посильна Александру Сергеевичу Пушкину, который на предложение цензора убрать из гениального «Медного всадника» строку «Порфиросная вдова» (явный намёк на дворцовое, семейное убийство императора Павла) отказался это сделать, из-за чего поэма при жизни поэта так и не вышла в свет.

Словеса равны измене — таков беспощадный вердикт Твардовского всем пишущим, и этому высочайшему счёту

поэт следовал сам, и не было у него словеса, а было Слово, такое же полновесное, как колос на плодородной ниве крестьянина-труженика.

Александр Трифонович усвоил урок русского национального гения, вот только мы, его наследники, что-то не спешим поднимать свою поэтическую планку, с того и девальвируется художественное Слово. Вот и свершилось, как предупреждал Твардовский в поэме «По праву памяти»: «Всё прах — стихи и проза, всё только так — из головы».

Поэзия и проза «из головы» — это путь в никуда, в сторону от почвы, от судьбы народной, так писатель сам — добровольно! — убивает в себе творца, а может, он и не был писателем?

И какая уж тут будет правда? — да никакой! Впрочем, каждый сам делает свой выбор.

И я выбираю Правду Твардовского и, слава Богу, нашёл ключ к его тайне.

И эта разгаданная мною и ставшая для меня откровением тайна Твардовского вновь и вновь усаживает за тома его произведений, чтобы я смог насладиться пришедшим открытием, без которого почти написанная книга «Мой Твардовский» могла стать книгой с преждевременной точкой.

И я благодарю судьбу за то, что точка эта не состоялась, посему и стоит за последним словом этой главы счастливым многоточием...

Владимир КАЗАРЕЗОВ

Сражающийся гуманизм Ивана Уханова

В Москве состоялась презентация книги известного прозаика Ивана Уханова «Выстрадать и выстоять». Её высоко оценили в своих выступлениях член Высшего творческого совета Союза писателей России Валентин Осипов, директор издательства «Голос-Пресс» Пётр Алешкин, председатель Международного Шолоховского комитета Андрей Черномырдин, сопредседатель правления Союза писателей России Александр Арцибашев, доктор филологических наук Виктор Петелин, главный редактор журнала «Форум» Владимир Муссалитин, прозаик Семён Шуртаков и другие литераторы.

Соглашаясь с выступавшими коллегами по перу, я безо всякого преувеличения констатирую: книга Ивана Уханова — это страницы настоящей русской классической прозы. Такую аттестацию дают ей образный язык, необычайная ёмкость, плотность ухановского письма, сражающийся гуманизм, обострённое чувство жизни, неиссякаемый интерес к двигателям её, создателям-подвижникам, мироустроителям. Именно эти «показатели» всегда отличали большое подлинное искусство...



Иван Уханов на презентации книги

Помните, у Чехова: «Подвижники нужны, как солнце». Особенно они нужны теперь, когда остро ощущается потребность в толковом хозяйствовании, в наладке, преобразовании всего общественного организма, разбалансированного чередой невнятных экспериментов и реформ. И нынче, когда отуманенный «демократами» народ ещё не совсем разобрался, куда, за кем ему идти, в чём его грех, а в чём спасение, писатели — слуги народа — должны бы видеть, знать, подсказывать верные ориентиры для истинного преобразования жизни, обязаны бы идти на полшага впереди лукавых политологов и конъюнктурных средств массовой информации, а не пристраняться к разного рода «кормушкам выживания», страдая пошленькие детективчики и сексуальную «клубничку».

Иван Уханов не выживает, а живёт, не меняя своих нравственных устоев в угоду «рыночной морали». Подчас вынужденно откладывает прозу и берётся за публицистику, — говоря языком военных, ставит оружие для стрельбы прямой наводкой.

Одно время писатель надолго смолк, словно бы сломленный осознанием беспомощности противостоять деструктивному, по сути, антинародным силам и обслуживающим их борзописцам-скоморохам. Но после продолжительного молчания Уханов представил читателям крупное историческое повествование о русском патриотическом подвиге, отважном учёно-естественноиспытателе, «уральском Колумбе» Петре Рычкове. Этим колоритным образом автор наглядно показал, что в России всегда были и есть доблестные радетели её, мыслители и создатели, для которых судьба Отечества — дело личное, кровное, святое. И хотя имя Петра Рычкова значилось в самых авторитетных энциклопедиях мира, хотя писали о нём краеведы и учёные, он

оставался малоизвестным даже в кругах серьёзных читателей. В Иване Уханове нашлось достаточно таланта и любви, чтобы приблизить Рычкова к читателям, разглядеть в нём личность выдающуюся, обаятельную.

Мне Рычков запомнился, прежде всего, мудрым, дотошным аграрием, к размышлениям которого стоило бы прислушаться и нынешним земледельцам. «Для крестьянства и для всего общества, — считал Рычков, — никакой промысел и никакое ремесло столь прибыточно быть не может, как земледелие, ибо оно противуположно капиталу не только вдвое, втрое, впятеро, но иногда и вдесятеро прибыли приносит, с той только разницей, что бываемая при земледелии работа против других промыслов и ремёсел несравненно труднее...» А потому «отменного прилежания людей к земледелию и скотоводству должно принимать с ласкою пред прочими, и таковых крестьян, которые в оном искуснее и трудолюбивее, ободрять публично похвалой, а в случае рекрутских наборов детей и братьев их отнюдь не отдавать, хотя бы за их домом и очередь была».

Рычкова возмущала уравниловка в оценке труда земледельцев, «когда бедные или, справедливо назвать, ленивые не заплатают государственную подать, то оную собирают с исправных, и тем самым добрые поселяне огорчаются, а ленивым дают повод больше лениться». Не без укора Рычков строго спрашивает: «Когда неоспоримые опыты всех веков, когда примеры всех народов, когда повествования всех государств научат нас, что навеличайшие прибитки происходят всегда от доброго земледелия?» И сам даёт ответ: «Невозможно, чтобы всяк, усердствующий о пользе своего Отечества, не старался ублажать землю и земледельцев. Ведь как бы хороша земля ни была, но, выпахиваясь, лишается растительной силы» и нуждается в удобрениях. Рычков даёт обстоятельные рекомендации, где лучше сеять хлеб: «К распахке и плодородию почтаются места ровные и небольшие скаты или склонение к полудню имеющее, однако же и в дубравах, на высоких местах, то есть перелесках, посеянный хлеб часто удаётся, а паче в те годы, когда дождей мало случается. К тому же в таких местах и от морозов бывает он безопаснее». Многогранен талант Петра Рычкова, неутомимого землепроходца, открывателя и исследователя уральских недр, в которых вся таблица Менделеева. Автор перерассывает мостик из прошлого к нынешним дням, к потомкам Рычкова, продолжателям его дел, заветов, проектов. Не все они претворены, исполнены. По-прежнему драматична судьба наших земледельцев, которые за минувшие десятилетия так и не обрели свободу, не стали подлинными хозяевами родных полей. Оттого-то и многие нынешние хронические неурядицы в сельском хо-

зяйстве. «Задёргали, замордовали крестьянина, — рассуждает в повести «Надо жить» Ирина Плетнёва. — А земля, как женщина. Она хочет, чтобы лелеял, любил её один, а не все, кому вздумается, кто вочто горазд. Вот как теперь: делят её, продают, транжируют... Помыкают ею, как потаскухой какой. А потом удивляются: почему она рожать перестаёт...»

Купля-продажа земли, «прихватизация», другие реформаторские акции, как известно, не оздоровили сельхозпроизводство, поскольку земля опять досталась не тем, кто пашет и сеет, а спекулянтам: толстосумам да безлошадным фермерам, получившим землю, но не получившим никакой оснастки для её возделывания. Короче, землю из оборота вывели по образцу приватизации промышленной собственности: в дело был запущен всё тот же механизм разрушения — народное достояние распродало за бесценок. И можно понять горькое недоумение пожилой крестьянки Дарьи Чулановой из рассказа «Побег»: «Отчего так, скажи? И заводы, и земля, и люди — прежние, а прибытка нет, повсюду разор, скандалы, суета... Вроде бы народ наш, завсегда смилённый и работающий, этак поглупел нынче, что во вред себе начал жить».

Духовное и душевное самочувствие персонажей произведений Ивана Уханова всегда зависит от нравственного климата в обществе. Неудачи, невзгоды Отечества они переживают как свои собственные, не «ложатся под ситуацию», грусть и уныние глушат работой, создавая добро и красоту.

Лирической поэмой можно назвать документальную повесть Ивана Уханова «Сказ о нетающем узоре».

— Отчего всякий раз обновлённо светлеет и радуется душа, отчего охватывает тихий трепет нежности и удивления, когда берёшь в руки оренбургский ажурный пуховый платок? Отчего желанным экспонатом входит он в залы международных выставок произведений народного искусства? Почему так страстно охотятся за ним заморские шеголихи, а композиторы и поэты слагают о нём песни? — задаёт автор вопросы и содержанием всей повести отвечает на них.

Вот как рассказал он о встрече со старшей пуховязальщицей. «Платки её так хороши, что описать или нарисовать их невозможно. Их надо увидеть. И когда Наталья Андреевна стала показывать свои белоснежные ажурные платки-паутинки, я замер безмолвно, да и, кажется, всё замерло. Я смотрел на эти чудо-платки и чувствовал, как глаза мои увлажняют от радости и восторга. Я склонился перед Натальей Андреевной и поцеловал её маленькие сухие и теплые руки».

Встречу с талантливой рукодельницей автор итожит словами: «И понял я с её слов, что пух и узоры для вязальщиц — те же краски и палитра для художника.



Краски есть у всех, а талантливых талантов — единицы.

Восхищаясь уникальной красотой и бытовой ценностью оренбургского пухового платка, автор выражает острую озабоченность сегодняшними проблемами славного народного промысла. Погоня за количеством изделий в ущерб качеству привела его к печальным последствиям: спрос на платки резко сократился. Автор доказательно убеждает: не количество вязальных станков-автоматов нужно увеличивать, а стадо единственных в мире оренбургских пуховых коз, сократившееся за годы реформ вчетверо. Редчайший пух стали заменять абы каким. И самое главное — нужно всемерно растить, умножать кадры мастериц ручной вязки, ибо только она, рукодельница, — истинная опора промысла, носитель его художественных традиций. Да, спрос растёт. Машинные станки прибавили работе скорость. Но они бессильны вдохнуть в изделие огонь художника.

Приверженец публицистики, я и в книге Ивана Уханова, прежде всего, отметил документальные произведения и очень мало сказал о его повестях и рассказах, написанных в лучших традициях русской классики. Меня буквально растрогали до слёз его повести «Играл духовой оркестр», «Надо жить», «Побег», «Мама, не умирай»... Создавать мощную силу эмоционального воздействия на читателя

Уханову помогают ёмкий, точный язык, музыкальный ритм письма, живописная изобразительность. Приведу несколько строк:

«Старуха кротко, воспоминательно улыбнулась и зябло, разорённо оглядела холодный, полупустой вагон».

«Бутылка стояла посреди кухонного стола, грозная и величавая, и твёрдо обещала весёлый день».

«Мы были свободны, как ветер, и в то же время неназойливо принадлежали друг другу».

«Фыркали лошади, мягко постёгивая себя хвостами».

Примечательно, что почти всех ухановских героев роднит душевное свойство: все они «сильны и счастливы тогда, когда чувствуют себя нравственно чистыми, когда действуют в согласии с совестью».

Некоторые критики ошибочно причисляют Ивана Уханова к писателям-деревенщикам. Ведь его в равной степени интересуют и города, и веси. Вернее сказать, его вообще мало интересует, в городе или селе живёт человек, кем работает. Уханов исследует проблему личности, такие её нравственные категории, как Совесть, Честь, Вера, Долг, Любовь.

И дай Бог ему здоровья, неиссякаемой веры в свой талант, новых светлых и мужественных книг!